

Юлия Красинская

КРЕЩЁННАЯ ВЕТРОМ

Роман



Юлия Красинская

Крещённая ветром

<https://litres.ru/73532356>

SelfPub; 2026

Аннотация

В ночь на Купалу, когда венки плывут по реке, а костры пылают до небес, провидение говорит с нами на языке ветра и пламени. Для Любавы эта ночь стала роковой: её венок уплыл в руки судьбы, от которой не убежать.

Оказавшись в чужом доме, где стены хранят мрачные тайны, а тишина тяжелее любого крика, она узнала, что значит терять себя день за днём.

Но в её жилах течёт кровь берегини. Чтобы спасти себя и тех, кого полюбила, Любаве придётся шагнуть в Навь, к самой Богине Смерти. И заплатить цену, о которой не догадывается никто.

Ведь настоящая сила — не в даре и не в магии. А в том, чтобы, пройдя сквозь тьму, суметь встать и идти дальше, не потеряв способность любить, прощать и выбирать свет.

И однажды выйти навстречу ветру - сильной, свободной, настоящей.

Юлия Красинская

Крещённая ветром

«Крещённая ветром»

роман

Часть 1. «Воля вольная»

Глава 1. «Ночь на Купалу»

Росы в ту ночь выпали такие, что казалось - небо просеяло сквозь сито мелкие бриллианты. Они сверкали в огне двенадцати костров, выложенных от края деревни до самого берега протекающей мимо речушки. Дым, густой и пряный от полыни и папоротника, медленно крался по земле, смешиваясь с запахом печёной репы, горящего берестового дёгтя и безудержным смехом гуляющей молодёжи.

Смех Любавы был самым звонким. Она кружилась в хороводе. Её тонкое тело мелькало в огненном свете. Алый сарафан, вышитый по подолу белоснежными бутонами, вздымался от быстрых движений. Длинная, русая коса с вплетёнными цветами билась её по спине, пытаясь угнаться за танцующей хозяйкой.

- Любавка, бежим скорее прыгать через костёр! - кричали ей взволнованные от происходящего подруги.

Раскинув руки, как птица, девушка сорвалась с места, и подбежала к самому высокому костру, что горел на лугу у старого вяза. Девицы, взявшись за руки, визжали от страха и

восторга. Парни подбадривали: кто выстоит, тот будет счастлив целый год, а чей прыжок окажется выше - тот будет смелее всех!

Когда подошла её очередь, Любава на секунду замерла, глядя на стену живого, трескучего пламени. Жар обжигал лицо. Собрав всю волю, подобрав подол, она разбежалась, оттолкнулась от примятой травы и взмыла в воздух. На миг ей показалось, будто она парит над огнём, а в ушах стоит только рокот пламени и восторженный гул толпы. Она приземлилась на мягкую землю по другую сторону, тут же выпрямилась под аплодисменты замороженных зрителей. Сердце бешено стучало, а в груди распирало ликование.

- Молодец, Любаша! Чисто перемахнула! - похлопал её по плечу соседский парень, протягивая руку и смущённо улыбаясь. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, весь красный то ли от огня, то ли от смущения. - Пойдешь со мной водить хоровод?

- Яшка, ну какой хоровод с тобой? Ты ж мне, как брат! - рассмеялась в ответ девушка, убегая к подружкам, стоящим чуть поодаль.

- А Любаша себе жениха нашла! - крикнула веснушчатая Катька. - Не жених, чисто золото!

- Да уж, жених! Яшка же это, братец мой названный! Неужто не угадала? - ещё пуще рассмеялась Любава.

- Ну так и Марена была сестрой Ярилы! Забыла что ли, милая? - захохотала подружка, протягивая Любавке фиоле-

тово-синий цветок марьянника.

Сбившись в кучку, немного похихикав и пошушукавшись, девки вдруг затянули на всю округу:

- Ай ты парень, не валяй, сарафан мой не марай,
Сарафан мой синий, сама, девка, скину.

Я сама, млада, осмелюсь, друга в гости позову,
Угощу, улещу, на кровать спать уложу.

Окончательно сконфузившись, Яшка махнул рукой в сторону деревенских девушек и скрылся в толпе парней, которые тут же начали его добродушно толкать и подначивать.

Со всех сторон снова полился залиvistый смех.

Гуляния были в самом разгаре, когда Любава поймала на себе взгляд отца. Он стоял у дальнего костра с мужиками, пил мёд и тихо улыбался. Его смуглое, изборождённое морщинами лицо светилось спокойной гордостью. «Растёт девка, как маков цвет. Мать бы порадовалась...» - подумал было он, но мысль о давно умершей жене растворилась в гуле праздника.

Когда смех слегка поутих и хоровод рассыпался на пары и небольшие группы, мужчины приволокли из деревни чучело Ярилы. Его несли на шестах, бережно, как настоящего заупокойника. Тулово божества было сделано из прошлогодней соломы, ноги-руки из берёзовых полешек, а поверх надета холщовая рубаха. Меж соломенных ног чучела вызывающе торчал увесистый берёзовый корень, затейливо обмотанный алой тряпичей и сухими колосьями. Девушки, едва

завидев это, приснули в кулачки, захихикали, прикрываясь локтями и смущённо отводя глаза, но украдкой всё же поглядывали - на счастье, на плодородие, на то, без чего в этом мире не родится ни хлеб, ни дитя. Лик Ярилы был нарисован углём и свёклой - глаза синие, круглые, щёки алые, усы из кудели, и венец из крапивы на голове. В руке он держал деревянный меч, обмотанный сухими васильками.

Мужики установили его в самом сердце луга, лицом к реке, ногами к востоку. И тотчас стихли даже самые буйные.

- Ярило, Ярило, отдай жар земле, отдай силу зерну, отдай плод чреву, - заговорил самый старый деревенский дед, опираясь на клюку. Голос у него был дребезжащий, но властный.

И все в едином порыве опустили головы. Любава стояла в первом ряду девушек, чувствуя, как по спине бегут мурашки.

- Старая плоть твоя пусть сгорит, да дух останется. Иди, Ярило, иди с миром, и возродись по весне новым колосом, - продолжал старик, и бабы тихонько подхватили: возродись, возродись.

Дед длинной лучиной поджёг соломенные ноги.

Огонь занялся не сразу, будто раздумывал. А потом лизнул подол рубахи, жадно, по-хозяйски, и Ярило вспыхнул. Высоко, до самых звёзд, ударило пламя. Крикнула какая-то девчонка, испуганно и восторженно, и тотчас все запели. Негромко, почти шёпотом, но так, что каждый звук отдавался в груди:

- Гори, Ярило, ярым огнём,
Ты весну держал - теперь осень ждём.
Земле - семя, девке - венец,
А ты, Ярило, воскреснешь, отец!

Любава смотрела, не в силах отвести взгляд. Соломенный бог полыхал жарко, щедро, разбрасывая искры, что кружились в ночи, как светляки. Последним загорелся крапивный венец на голове чучела. Вспыхнул ярко-синим, каким-то ненастоящим огнём.

- Чур меня! Чур! - слышалось со всех сторон.

Не помня себя от страха, Любава рванула ворот рубахи и сунула руку за пазуху - там на шнурке из крапивной нити висел оберег: высушенная лапка утицы с завязанным на ней узлом. Пальцы сжали костяшку и, трижды дунув через левое плечо, Любава прошептала: «Отшатнись! Отворотись!».

Горячий воздух колыхнул волосы у виска. Синяя вспышка погасла, и Ярило занялся обычным, желто-красным пламенем. Никто ничего не заметил. Все смотрели на огонь.

Когда чучело божества прогорело до пояса, парни подхватили шесты и понесли останки к реке. Впереди бежали мальчишки с трещотками и свистульками - гнали шумом всё злое, что могло прицепиться к уходящему богу. Женщины кидали вслед горсти овса, маковых зёрен и лепестки шиповника.

- Уплывай, Ярило, вернись дождём! - кричали они.

И Любава, не выдержав, тоже кинула горсть зёрен в сто-

рону удаляющейся к реке процессии.

Когда провода подошли к концу, шум и гам стих, сменившись сосредоточенной, почти священной тишью. Вечер продолжился на берегу таинственным и долгожданным обрядом.

Девушки с серьёзными лицами спускали на воду свои сплетённые из трав и цветов «кольца судьбы». Чей венок поплывёт далеко и ровно - та замуж скоро выйдет. Чей завертится на месте или, того хуже, пойдёт ко дну - у той судьба будет горькой.

Любава плела свой венок, старательно подбирая каждый цветок и травинку: ромашка - за невинность, василёк - за верность, гибкая ивовая ветка - за покладистость и мир.

- Возьми черныбыльник, добавь от дурного сглаза, - шепнула Катька, протягивая темный стебелёк полыни.

Любава только замотала головой: «Не надо. Пусть будет, как будет». Но подружка, послушавшись, всё-таки воткнула в венок полынную веточку: «Лишним не будет!»

Любавка присела на корточки у самой воды, где отражение костров колыхалось, как живое золото. Шепнула своему венку что-то - просто тёплое пожелание счастья - и пустила его на воду.

И тут случилось то, о чем в деревне потом судачили ещё неделю. Венок её не просто поплыл. Он словно поймал невидимое подводное течение. В то время как другие девичьи венки кружились на месте, цеплялись за камыши или мед-

ленно набирали воду, её веноч - яркий, пышный - уверенно поплыл в самую середину реки. Он уплывал так быстро и прямо, будто его тянул кто-то за невидимую ниточку. Девушки ахнули.

- Глянь-ка! У Любавы - самый счастливый!

- Да он как на огонёк плывёт! Точнехонько к лунной серебрине!

Любава смотрела, затаив дыхание, на уплывающий вдаль веноч. В груди что-то ёкнуло - не страх, а скорее удивление перед собственной судьбой, которая вдруг проявилась так наглядно. Она поймала на себе восхищённые и завистливые взгляды. И ещё один - пристальный, тяжёлый, изучающий.

Из тени высокой ракиты на противоположном берегу за ней наблюдал мужчина. Он не плясал и не смеялся. Он стоял, как столб, широкоплечий и недвижимый, в тёмной одежде. Свет луны падал на его лицо, делая его резким и бледным, как высеченное из камня. Это был кузнец Горислав из города. Он редко появлялся на деревенских гуляниях. А сейчас смотрел только на неё.

Их глаза встретились на мгновение через речную гладь. Любава почувствовала внезапный бег мурашек по спине, будто на кожу упала капля ледяной воды. Она инстинктивно отшатнулась.

- Любава, ты чего? - спросила Катерина, хватая её за локоть.

- Да так, почудилось, - отмахнулась она, заставляя себя

улыбнуться и отвести глаза от того берега.

Но когда она снова, уже машинально, обернулась через мгновение - под ракитой было пусто. Будто там никого и не было. Будто и правда почудилось.

Они вернулись к кострам, к теплу, к смеху. Но ощущение того ледяного, оценивающего взгляда уже поселилось где-то глубоко внутри, как крохотная заноза. Она попыталась забыть о нём, вернуться в хоровод, но пляска больше не радовала своей беззаботностью. Где-то в подсознании шевельнулась мысль: её венок уплыл слишком уж уверенно. Как будто чья-то воля, кроме её собственной, указала ему путь.

А позже, когда гулянье стало стихать и девушки, обнявшись, шли по деревне, распевая протяжные песни, на дороге появилась незнакомая старуха. На ней была поношенная темная телогрея, не по сезону, а из-под платка выбивались пряди седых, сухих, как солома, волос. Лицо её было нескладное с мертвенно-бледной кожей. Но самое жуткое - были её глаза. Маленькие, глубоко посаженные, они не моргали и казались стеклянными, пустыми, как у мертвой рыбы. Она мотнула головой в сторону Любавы и хрипло промолвила:

- Цветёшь сильно, девка, ой, как сильно. Прямо огнём горishь. Таких либо срывают первыми, либо заморозком до времени бьет. Никакой сему цветку середины не бывает.

Сказав это, старуха, не дожидаясь ответа, развернулась и бесшумно растворилась в предрассветной дымке.

Любава стояла, словно парализованная, чувствуя, как у неё стынют пальцы. Рядом Катерина нервно дернула её за рукав.

- Иди, иди, Любушка, не слушай. Дурочку юродивую какую-то принесла нелегкая. Пойдём домой.

Подруги, притихшие и напуганные, поспешно обошли то место, где только что стояла старуха, ускорив шаг. Любава заставила себя двинуться вслед за ними. Она подняла лицо к небу, где уже гасли последние звёзды, и глубоко вдохнула, пытаясь заглушить дрожь. Вздор. Вздор и бред. Впереди была вся жизнь - счастливая и ясная, как это утро.

Она не знала, что её венок, достигнув середины реки, тихо пошёл ко дну, унося с собой девичьи грёзы о простом счастье. А пепел от ночных костров на окраине деревни, остывая, оставлял после себя длинные, темные тени.

Глава 2 . «Ветер с того берега»

Солнце на другое утро встало ленивое, размытое в легком мареве над лугами. Любава проснулась с ощущением сладкой усталости и странной тяжести на душе, будто приснился нехороший сон, который напрочь вылетел из головы, оставив после себя лишь осадок.

Она лежала, глядя в потолок, где между тёсаными балками плела паутину степенная хозяйка-паучиха. Луч утреннего солнца, пробиваясь сквозь запотевшее окошко, разрезал полумрак и лёг золотой пылью на знакомые, родные шероховатости бревенчатой стены. Этот дом всегда был её вселен-

ной, каждый его уголок дышал историей её жизни. Когда-то давно она бегала босыми ножками по этому бревенчатому полу и потолок казался ей недостижимо высоким. А сейчас комнатка стала маленькой, но от того особенно уютной.

Любава потянулась, и её взгляд упал на алый подол сарафана, небрежно накинутого на скамью, и всё-таки подпаленного вчерашним кострищем. Вышитые бутоны показались припылёнными, уставшими. Вспомнился венок, уверенно бегущий по лунной дорожке, а потом тот страшный взгляд из-под ракиты и старуха. Она резко села на кровати, отгоняя воспоминание.

Начался обычный, суетливый и ясный день. Надо было докрасить пряжу - отец принёс намерзшие охапки шелухи, дать ей настояться. Потом проверить куриные гнёзда и скотину на дальнем выгоне. Потом принести воды. Руки сами знали, что делать, движения были отлажены годами. Любава пела за работой - уже не громкие праздничные песни-прибаутки, а протяжные, будничные напевы, под которые и думалось легче.

К полудню к ней забежала Катерина, всё ещё взволнованная вчерашним.

- Любаша, а ты того, Яшку-то вчера совсем уж! - засмеялась она, усаживаясь на завалинке и принимаясь щёлкать семечки.

- Да чего его, глупого. Удумал тоже, жених... - махнула рукой Любава, но улыбнулась. - Жаль его, правда.

- Не бери в голову, он быстро отойдёт, - махнула рукой Катя. - А вот старуха та. Ты её раньше видела?

- Нет, не видела, - ответила Любава. - Не видела и видеть не хочу. Страшная такая.

- Говорят, - голос Катерины стал боязливым шепотом, - в прошлый раз старуха эта появлялась у нас в слободе лет десять назад. Незадолго до того, как кузнец Горислав выбрал себе женой Аграфену. Девушка была - песня! Мастерница - золотые руки, голос - как у райской птицы.

Катерина замолчала, и в молчании этом было что-то по-настоящему страшное.

- За полгода до их свадьбы, эта старуха у околицы ей повстречалась, - продолжила подруга ещё тише. - Нашептала что-то, головой покачала. Все тогда крестились, а Аграфена смеялась: «Блаженная, мол». Через полгода - свадьба. Все ахали: какая пара! Он - статен, мастеровит, она - краса писаная, - Катя сделала паузу, щёлкая семечки медленнее, погружаясь в какие-то свои думы. - А потом девушку будто подменили. На людей глядеть перестала, песни забыла, ходила, как тень, бледная, прозрачная. Словно из неё весь свет выкачали. Через два года померла. От тоски, говорят... А старуху ту после больше никто не видел. До вчерашнего дня.

Слова повисли в воздухе тяжёлой, ядовитой угрозой.

- Ой, ладно, Кать, - Любава тряхнула головой, прогоняя липкий страх. - Будет нам с тобой грустить. Ты новый узор на понёву видела, что Марфутка выдумала?

Разговор свернул на привычные девичьи темы, и вскоре Катя, дощёлкав последние семечки, убежала по своим делам.

Любава и правда не придавала особого значения страшной истории. Всё это - мрачные сказки для долгих зимних вечеров.

Она вернулась к делам. Работа пошла своим чередом. Напевая какую-то мелодию, Любава красила пряжу в чанке с луковым отваром, и любовалась, как белая шерсть постепенно наливается тёплым, медным цветом. Мысли её были заняты тем, успеет ли она докрасить холсты и расшить их вышивками-оберегами к первому зазимью.

Ужас ночной старухи и леденящая история о бравом кузнецке из города казались теперь чем-то смутным, нереальным, словно приснившимся. Её мир был прочным, ясным и не имел к этим теням никакого отношения.

Вечером возвратился отец. Он был задумчив и как-то тих, не похож на себя. За ужином он ковырял ложкой в миске, словно не ел, а искал что-то на дне тюри.

- Батюшка, что с тобой? Устал? - спросила Любава.

Отец тяжело вздохнул.

- Был сегодня в слободе, по делу. Встретил там кузнеца Горислава-Ковалю.

Ложка в руке Любавы замерла на полпути ко рту.

- И что?

- Разговорились. Мужик он видный, хозяйственный. Спрашивал про наш дом, про землю. Про тебя.

- Про меня? - голос Любавы дрогнул.

- Ну да. Говорит, слышал, руки у тебя золотые, да нрав весёлый. Похвалил.

Похвала от того, чей взгляд вчера в ночи оставил на спине ледяные мурашки, прозвучала зловеще. Любава молчала.

- И долги, дочка, наши помянул, - добавил отец чуть слышно, не поднимая глаз. - Говорит, знает, что живётся нам тяжело. Предлагает помощь.

- Какая нам от него помощь? - вырвалось у Любавы. - Чего он хочет-то, батюшка?

Степан наконец посмотрел на неё, и в его глазах, обычно таких ясных, плескалась беспомощность и непонятная ей вина.

- Не знаю, доченька. Не знаю.

Они доели молча. Тишина в избе стала такой густой, будто её выткали из той же пряжи, что лежала в углу, но только цвета пепла и тревоги.

Перед сном Любава вышла на крыльцо, вдохнуть ночного воздуха. Никаких костров, никаких песен. Только лягушки перекликались у реки, да где-то далеко заухал филин. Ветер, тёплый и мягкий, ласково трогал её непокрытые волосы. Она закрыла глаза, пытаясь поймать в нём утешение, услышать знакомый шёпот листьев. Но ветер сегодня был немым. Или она разучилась его слышать.

- Матушка... - беззвучно шевельнулись губы Любавы. - Матушка, где же ты, родная?

Внутри, там, где билось молодое жаркое сердце, раскрылась знакомая пустота - та самая, что появлялась каждый раз, когда она смотрела на лавку у печи или слышала, как другие девушки зовут матерей. Не острая, как в первые годы, а притупленная, привычная. Как старый шрам, что болит к ненастью. Именно сейчас, в эту беспомощную минуту, ей так отчаянно хотелось положить голову на чье-то колено, чтобы чьи-то пальцы, тёплые и умелые, разгладили ей волосы на висках. Материны пальцы.

Из глубин памяти всплыли обрывки давних разговоров, родительских сказок на ночь. Отец рассказывал о светлом, волшебном Ирии, спрятавшемся где-то посреди тёплого моря. А мать, тихо и таинственно, шептала о другом - о Нави. О том, что мир, как древо. И есть Явь, где живут люди, а есть Навь - загробный, иной мир. Там текут молочные реки, но берега их каменисты. Там обитают духи-нави и души праведные. И отделяет один мир от другого река огненная, а мост через неё тоньше волоса и острее бритвы.

- Они рядом, дочка, - говорила мать. - Иногда ветер с того берега доносится до нас. Или снится вещий сон. Так они разговаривают с нами.

Теперь Любава думала об этом часто. Мать ушла в ту Навь. Может, смотрит сейчас с того берега на неё сквозь пелену тумана? Может, этот самый ночной ветерок - и есть её касание, её тихое предостережение?

- Что же мне делать? - мысленно взывала она к незримому

образу. - Отец сломлен. А этот кузнец, его похвала, что нож вострёный. Будто туча надвигается на наш дом, а куда бежать - не видно. Подказала бы ты, родная.

Но в ответ была лишь гулкая тишина.

Предчувствие неминуемой беды охватило Любаву с новой силой. Все твёрдое под ногами будто вдруг стало зыбким, ненадёжным. И не за что ухватиться. Ни в этом мире, ни в том.

Глава 3. «Серебряная заколка»

На третий день после разговора с отцом, когда послеобеденное солнце лениво лилось в окно, в сенях раздался чужой, нарочито громкий кашель, и скрипнула дверь.

- Мир дому сему и всякому добру в нём! - прозвучал на пороге густой, медовый голос.

В низких дверях стояла женщина, которую знала вся округа, но в этот дом она ещё не заглядывала. Акси́нья Потаповна, сваха. Дородная, в новой, цветастой шерсти понёве и ярко-алом, дорогом платке, повязанном сложным, городским узлом «на богатство». Лицо у неё было широкое, скуластое, с вечно прищуренными, быстрыми глазками. Они сразу, не стесняясь, принялись бегать по горнице, выценивая крепость стен, добротность утвари, наряд девки.

- Акси́нья, проходи, - глухо отозвался со своей лавки Степан. Он с неохотой поднялся, кивнул, и в этом кивке была вся тяжесть предрешённого.

Сваха вплыла в избу, словно ладья под парусами из доро-

гой ткани, неся с собой запах мяты, мёда и чего-то ещё сладковато-приторного.

- Ох, и жарко же нынче на свете, Степан Иванович. Пу-тём-дорогой шла, а у тебя, вижу, прохладно да благодно.

- Ну, присаживайся, коль пришла, - отец указал Аксинье на свободную лавку напротив, не глядя. Его пальцы, шершавые и узловатые, как корни старого дуба, медленно, с отчаянием скоблили давний сучок на столешнице, будто пытаясь стереть его и сделать стол гладким и новым.

Она села напротив хозяина, с достоинством положив пухлые, белые руки на стол. Руки её никогда не знали серпа или веретена. Любава, автоматически выполняя долг хозяйки, поставила перед гостьей глиняную кружку с квасом и деревянную тарелку с краюхой ржаного хлеба. Её собственные руки, потемневшие от луковой шелухи и работы на земле, вдруг показались ей грубыми, мужицкими.

- Благодарствую, голубка, - сваха окинула её долгим, пронизывающим взглядом, от макушки до пят. - Расцвела, ясочка. Прямо как маков цвет посреди огорода. Недаром про тебя разговоры идут.

- Какие разговоры? - спросила Любава, и голос её прозвучал ровнее, чем она ожидала.

- Да хорошие, милая, хорошие! - заверила Аксинья, отхлебнув кваса маленьким, аккуратным глотком и едва поморщившись от кислинки. - Кто про руки золотые говорит, кто про нрав весёлый. Девушка на выданье, она как узор на

праздничном полотенце: всем видна.

Степан молча смотрел в стол, в ту самую царапину, будто читал в её причудливых изгибах свою судьбу. Воздух в избе стал тяжёлым и густым, как смола.

- По делу, видно, пожаловала, Аксинья? - сказал он наконец, не поднимая головы.

Сваха вздохнула, но в её глазах не было ни тени сожаления, лишь деловой расчёт.

- По делу, родной, по делу. Не сама по себе. Посланцем я к тебе от уважаемого человека, кузнеца Горислава. Мужик он, что кремень под ногой. Дом его - полная чаша. Да вот беда: без хозяйки чаша та осиротела. Вдовец он, горемычный, а жить-то надо. Ищет он не просто жену, а подругу жизни, умницу- разумницу да трудолюбницу, чтобы свет в дом внести, да порядок навести.

Любава стояла у печи, чувствуя, как каждое слово свахи вязнет в воздухе, как смола. Её мир казался теперь хрупким, как тонкий лёд, а под ним уже чернела чужая, незнакомая бездна.

- Знаем мы кузнеца Коваля, - пробормотал Степан. - Знаем, конечно.

- Так то ж и хорошо! - оживилась сваха, разводя руками. - Чего там гадать-то, судьбу испытывать? Человек он известный, состоятельный, работающий. И, что главное, сердце у него доброе, отзывчивое. Слышал, видно, про ваши невзгоды. Говорит: «Степан - мужик честный, дочка у него - бла-

горазумная. Не оставлю в нужде. Возьму их под своё крыло, долги все закрою».

Слова эти упали, как тяжёлые замки. Любава видела, как отец сжался, будто от невидимого удара. Его спина, всегда прямая, ссутулилась.

- Дело серьёзное, - сказал он.

- А я какое дело несерьёзное водила? - с лёгкой, снисходительной усмешкой парировала сваха. Она полезла внутрь своей котомки и вынула небольшой деревянный ларец, простой, но тонкой работы. Поставила его на стол. - Жених просил передать подарочек. В знак добрых намерений. Открой-ка, голубка, - кивнула сваха Любаве. - Тебе же.

Любава подошла к столу, двигаясь, как во сне. Каждый шаг давался с усилием. Пальцы, холодные и непослушные, нашли маленькую защёлку, щёлкнули. Внутри, на тёмном бархате, лежала серебряная заколка для косы. Не девичья, простая из бересты или меди, а тяжёлая, солидная. Два переплетённых стебля полыни, собранные в тугой, неразрывный круг, с искусно выкованными мелкими корзинками-соцветиями. Работа была изумительной, непостижимо искусной для человеческих рук.

- Говорит, сам делал, - с гордостью произнесла сваха, видя восхищенный взгляд девушки. - По твоему венку, Любава. Тому самому, с полынью. Красиво, а?

Любаву бросило в жар, потом в холод. Её венок, пущенный с тайной надеждой, стал лекалом для этого металличе-

ского плена. Правда свахи была проста, как топор: мир делится на сильных и слабых, на тех, кто даёт, и тех, кто берёт.

В избе повисло молчание. Сваха ждала, сложив руки на груди, её лицо выражало почти благостное терпение. Отец прятал взгляд в узлах дерева на столе, будто ища в их лабиринтах выход. Любава смотрела на серебряные цветы, не в силах оторвать от них глаз. В их отполированных соцветиях мёртвыми звёздами дрожал огонёк лучины, горящей в железном светце.

- Мы подумаем, Аксинья Потаповна, - выдавил наконец Степан.

- Подумайте, подумайте, родненькие. Я за ответом завтра к вечеру зайду.

Она засобиралась и, вставая из-за стола, неловко зацепила своим пухлым боком за край. Глиняная кружка, та самая, из которой она только что пила, качнулась, упала на пол и разбилась с сухим, звонким, невыносимо громким треском. Осколки, тёмно-коричневые с белыми крапинками, разлетелись по половицам.

Любава ахнула, прижав ладонь ко рту. Это была не просто кружка. Это была кружка её матери. Та самая, из которой она поила дочь парным молоком в детстве, в которую отец наливал ей квасу после тяжёлой работы. В ней жила память о тепле, о смехе, о целостности их маленького мира. А теперь она лежала в осколках.

- Ой, простите, сердечные, неловко вышло! - воскликнула

Аксинья, но в её голосе не было ни капли сожаления, лишь деловая торопливость. Она даже не наклонилась. - Глиняное-то, оно всегда хрупкое. Наживёте новую.

И она ушла. Так же величаво, как и пришла, оставив после себя тяжёлый шлейф сладкого запаха, холодный блеск серебра на столе и разбитую вдребезги память.

Любава стояла, не в силах пошевелиться, глядя на черепки. В горле встал ком. Это был знак. Пришла чужая воля - и расколола самое дорогое, что оставалось от прежнего счастья. Теперь даже память о матери лежала в осколках, которые уже не склеить.

Взгляд отца скользнул с побелевшего лица дочери на осколки на полу. Что-то дрогнуло в его лице - не гнев, а глубокая, невыносимая боль. Он молча опустил голову и стал медленно, с какой-то тщетной бережностью, собирать крупные черепки в горсть. Его большие, грубые руки дрожали. Он не смотрел на Любаву.

Аккуратно собрав осколки, он встал, протёр свободной рукой иссеченное морщинами лицо и, не проронив ни слова, вышел в сени. Через мгновение со двора донёсся знакомый, методичный стук: топор рассекал полено за поленом. Но сейчас это был не труд, это было молчаливое отчаяние, выливавшееся в ровный, дробящий душу ритм.

Любава стояла одна посреди опустевшей, внезапно показавшейся огромной горницы. Её взгляд скользил от сверкающей на столе заколки к горстке глины на полу. Одна вещь

обозначала будущее, другая - прошлое. По одну сторону была её прежняя жизнь, простая и свободная. По другую - пугающая тьма, выплата отцовских долгов, новый дом и неволя. В обмен на саму себя.

Она не прикоснулась ни к серебру, ни к глине. Развернулась и вышла на улицу. Не оглядываясь, прошла мимо отца, прочь от дома, вниз по склону, к реке. Туда, где три ночи назад пустила свой венок. Туда, где из тени ракиты на неё смотрели глаза, высеченные, казалось, из того же холодного серебра.

Ветер встретил её у воды, на обрывистом берегу. Но он больше не ласкал её волосы. Он дул ровно и безучастно. Будто и вправду был пришельцем с того, чужого берега, что лежал во тьме за речной гладью. Пришельцем, который знал, что выбор между серебром и глиной уже давно сделан кем-то другим, а её удел - лишь подчиниться этому выбору.

Глава 4. «Круги на воде»

Река текла тёмной, тяжёлой лентой, унося вдаль последние отсветы заката. Сумерки спускались на землю неспешно, как густая пелена. Они впитывали в себя последнее тепло дня, крали у мира краски, оставляя лишь приглушённые тона: свинцовую гладь реки, тёмно-зелёный бархат леса на том берегу, пепельно-серое небо, где одна за другой зажигались холодные, мерцающие звёзды. Воздух стал влажным и тяжёлым, пропитанным запахом сырой земли и увядающей осоки.

Любава стояла на том самом месте, где несколько дней назад пускала венок. Вода текла перед ней тёмной, безразличной лентой, унося вдаль не только последние отсветы заката, но и остатки дневного шума - голоса со стороны деревни теперь долетали сюда глухо, обрывками, будто из другого мира.

Сзади, из-за спины, вдруг послышался резкий, неосторожный хруст ветки. Любава вздрогнула и резко обернулась, сердце заколотилось в страхе.

Из вечерних сумерек, спускавшихся на берег, вышел Яшка. Он остановился, переминаясь с ноги на ногу. На лице его смешались растерянность, забота и какая-то, несвойственная ему, юношески-неуклюжая решимость. Увидев Любаву, он замер на месте, словно испугавшись самого себя.

- Любаша, я видел, как она, сваха-то, от вас вышла, - он сделал шаг вперёд. - Всё село уже судачит.

Она молчала, глядя на него. На того самого, знакомого с пелёнок Яшку. Брата названного. В его глазах не было той леденящей оценки, что у кузнеца, ни делового расчёта свахи. Была простая, человеческая тревога.

- Отец замолчал, дрова колет, - сказала она наконец, и голос её звучал устало и пусто. - А на столе серебро лежит. Задаток.

Яшка сморщился, будто от физической боли.

- Так это правда, значит? Горислав заслал к вам сваху?

- Похоже, что так, - Любава опустила глаза на свои босые

ноги. Легче было смотреть туда, чем видеть отражение своего отчаяния в его глазах.

Он замолчал, сжав кулаки. Потом внезапно выпалил, глядя не на неё, а на реку:

- Нельзя, Любавка. Не ходи за него. В городе говорят, жена его первая не просто от тоски умерла. Он её будто в золотую клетку посадил. Платья парчовые покупал, украшения разные дарил. А она словно свеча без воздуха тлела. Песни забыла, на людей глядеть перестала.словно не живая, а тень по городу бродила. А потом и вовсе потухла.

Шёпот его, полный суеверного, почти животного ужаса, ударил Любаву сильнее, чем все пророчества старухи. Это была не мистика, а страшная правда жизни. Внутри неё что-то дрогнуло, съёжилось. Но она тут же, почти силой загнала этот страх в самую глубь.

Говорят... Слышал...

- А что я могу, Яша? - в её голосе прорвалась отчаянная горечь. - Долги. Отец сломлен. Сваха завтра придёт за ответом. У меня... у меня нет выбора.

- Есть! - вдруг почти крикнул он, перебивая её. В его глазах загорелся огонь. Он сделал два шага вперёд, сократив расстояние между ними. - Бежим!

Любава замерла, не веря своим ушам.

- Что?

- Бежим. За реку. В леса, а там - в другие земли. Я сильный, работу найду. Обеспечу. Не дам тебя в обиду, - он гово-

рил быстро, горячо, и в его словах была вся безрассудная отвага юности, не ведающая истинной цены таким поступкам.

Любава смотрела на него - на этого простого, доброго парня, который вдруг предложил ей ветер вместо серебряных цепей. Не рассчитанную сделку, а безумный побег. В груди что-то дрогнуло - слабая, почти угасшая искра надежды. А что, если?

Но тут её взгляд упал на тёмную воду, на отражение первой звезды, дрожащее в глубине. И она вспомнила отца. Его сгорбленную спину у поленницы. Его дрожащие руки, собиравшие осколки. Его долги, которые после её побега обрушатся на него одного, как каменная глыба. Горислав не простит такого оскорбления. Нет. Она не могла. Это было бы не спасением, а предательством.

Она медленно покачала головой.

- Не могу я, Яшенька. Не могу я батюшку бросить. Он один. Да, и куда мы с тобой убежим? Горислав везде нас найдёт. У него сила, деньги. А у нас только ноги да страх.

Искра в глазах Яшки погасла. Он всё понимал. Он был дитя той же земли, того же уклада, где долг и родовая петля были крепче любой личной воли.

- Так что же делать-то? - простонал он, и в голосе его была уже не решимость, а отчаяние загнанного зверька.

Любава не ответила сразу. Она повернулась лицом к реке. Ветер, всё тот же безучастный, поднял с воды холодную сырость.

- Ничего не делать, - сказала она так тихо, что слова почти утонули в гуле реки. - Всё уже решено.

Она почувствовала, как внутри, под грудой страха и отчаяния, шевельнулось что-то твёрдое, колючее и негибкое. Как тот самый чернобыльник в её венке - горькая, жгучая трава, которую добавляют от сглаза.

- Благодарю тебя, что пришёл, Яша, - добавила она, отводя взгляд. - А теперь иди. Прошу тебя.

Он постоял ещё мгновение, потом кивнул и растворился в сгущающихся сумерках. Любава осталась одна. Но теперь одиночество её было иным. В нём появилась тихая решимость. Она посмотрела на тот берег, где когда-то стоял кузнец. Потом на воду, унёсшую её венки. И на тёмное небо, где зажигались новые звёзды. Тишина сомкнулась над ней.

Будто противясь возвращению в дом, ноги сами повели Любаву вдоль берега, к старой, склонившейся над водой иве. Под её раскидистыми ветвями был небольшой закуток, скрытый от чужих глаз, где она в детстве любила бывать с матушкой.

Любава остановилась у самой кромки. Вода была чёрной и, казалось, тёплой, прогретой палящим дневным солнцем, но стоило опустить руку, чтобы понять, что это обман. Глубже, под тонкой плёнкой тепла, таился промозглый, костяной холод глубины. Она посмотрела на своё отражение, размытое течением, и не увидела в нём ни страха, ни решимости. Ничего.

И тогда, без мыслей, без чувств, её пальцы нашли завязки на груди. Потом - пояс. Тяжёлая, пропахшая дымом и потом понёва упала к её ногам. За ней - исподняя рубаха.

Не спеша, она переступила через упавшую на влажную землю одежду.

Ночной воздух обнял её кожу, заставив вздрогнуть, но не от стыда, его не было. Было лишь ощущение странной, перевозданной правоты. Так делали её далёкие праматери, входя в священные воды для очищения, для просьбы к духам, для соединения со стихией. Любава не помнила этих обрядов, но её тело помнило. Кровь помнила.

Первый шаг в воду был шоком. Холод впился в ступни, щиколотки, икры, как тысячи острых игл. Она замерла, переводя дух. Потом сделала второй шаг. Вода достигла колен, и холод стал не болью, а ясностью. Каждая крупинка страха, обиды, горечи казалась теперь маленькой и незначительной в сравнении с этой величавой, всепоглощающей стужей.

Вскоре вода доходила ей уже до груди. Течение обняло её, пытаясь снести, но девушка устояла, упершись босыми ногами в илистое дно. Здесь, в полной темноте её наконец отпустило. Не мысли, а само тело. Любава зажмурилась, откинула голову назад, чувствуя, как тяжёлая коса тянет её вниз. Она доверилась своим инстинктам, памяти тела и спокойно погрузилась в воду с головой.

Мир звуков исчез, сменившись гулким, вселенским звоном в ушах. Холод схватил её за виски, сжал череп. Но она

не боролась. Она отдавалась. Пусть вода заберёт остатки той, прежней Любавы. Пусть унесёт, как унесла её венок. На несколько секунд она стала частью реки, частью ночи, частью этой немой, древней силы.

Когда лёгкие заныли от нехватки воздуха, Любава оттолкнулась ото дна и вынырнула. Звуки вернулись - её собственное прерывистое дыхание, далёкий крик ночной птицы. Она вдохнула полной грудью, и воздух показался ей пьянящим, острым.

Любава вышла на берег. Тело горело изнутри, отвечая на внешний холод внутренним жаром. Она не торопилась одеваться. Стояла, глядя на реку, с которой только что соединилась в тихом обряде. Круги от её погружения давно разошлись, слившись с общим течением.

Медленно натянув на влажное тело рубаху, она ощутила, как грубая ткань прилипает к коже. Понёва показалась невероятно тяжёлой, как будто её отлили из свинца. С мокрой косы за ворот, по позвоночнику стекала ледяная вода, капая на землю у ног. Кап-кап-кап... как отсчёт времени. Пусть капает.

Любава повернулась и пошла к дому, не ощущая холода. Дорога вверх по склону казалась короче, чем всегда, будто ночь сама подталкивала её в спину.

В окне избы теплился огонёк - одинокий, тусклый, но не гаснущий. Отец ждал. Он сидел на лавке у потухшей печи. Его спина, обычно прямая, была сломлена безмолвной му-

кой. Услышав шаги, он не поднял головы, лишь плечи его слегка дрогнули.

Любава остановилась на пороге, оставляя на полу тёмные капли. Она не сказала ни слова. Не нужно было.

Молча подошла к отцу, и её мокрые, холодные руки мягко обвили его сухую, жилистую шею. Прижалась щекой к его колючей щетине. Он вздрогнул всем телом, замер, а потом его большие, грубые ладони медленно, нерешительно легли ей на спину, ощутив сквозь ткань ледяную влагу и дрожь. Они сидели так в полной тишине, в полутьме, пока капли с её косы не перестали падать на половицы.

За окном ночь перевалила за середину. Чёрные, густые сумерки уже отступали, уступая место предрассветному мерцанию утренней зари.

Глава 5. «Хозяин»

На следующее утро, когда Любава после завтрака механически мела пол в светлице, за окном раздался тяжёлый, мерный стук копыт и резкий, властный оклик, заставивший вздрогнуть даже спящего на полатах кота.

Отец, дремавший у печи, поднял голову, и в его глазах мелькнуло мгновенное понимание. Этого гостя сегодня не ждали. Но это был и самый важный гость в их доме.

Дверь, не дожидаясь приглашения, отворилась. В дверном проеме стояла фигура, закрывшая собой свет и, казалось, вытеснившая весь воздух из и без того небольшой избушки.

Кузнец был настолько высок, что ему пришлось слегка

склонить голову, входя под притолоку. Поверх тонкой белой льняной рубахи с красно-чёрной вышивкой по вороту и обшлагам был накинута короткий, до бёдер, кафтан из тёмно-синего сукна, подбитый по краю тонким мехом куницы. Кафтан был перетянут широким кожаным поясом с массивной бронзовой пряжкой в виде сплетённых змей - работа его рук. На шее, поверх ворота, тускло поблёскивала серебряная гривна - знак не столько богатства, сколько положения.

Рукава кафтана были откинута назад, и именно это открывало взгляду главное: его руки. Предплечья, обнажённые почти до локтей, были покрыты паутиной старых, белесых ожогов и шрамов, но не уродовавших, а гармонично вписавшихся в рельеф мощных мышц. Эти руки были не просто сильными. Они были инструментом и оружием, живым воплощением ремесла и власти хозяина.

Лицо его было ни добрым, ни злым. С резко очерченным, прямым лбом, тёмными, густыми бровями, под которыми глаза смотрели чёрным, пронзительным холодом. Нос с небольшой горбинкой, твёрдый, прямой рот, скрытый короткой, аккуратно подстриженной бородой цвета воронова крыла. Волосы, такие же чёрные, как борода, были зачёсаны назад и падали чуть ниже плеч, тяжелые и блестящие, с едва заметной волной. Когда он наклонял голову, пряди открывали высокие скулы.

Красота Горислава была грозной, как красота выкованного им же закалённого клинка.

Любава замерла с веником в руках, чувствуя, как земля под ногами стала зыбкой. Его взгляд скользнул по ней - быстрый, оценивающий, как тогда, через реку, и перешёл на отца. Не было ни поклона, ни приветствия.

- Степан, - голос кузнеца был низким, ровным, без деревенской певучести. Он не повышал тона, но каждое слово звучало отчеканенно и ясно. - Я говорил с Аксиньей. Знаю, что вы взяли время подумать.

Отец молча кивнул.

- Думать долго - делу вредить, - продолжил Горислав. Его взгляд снова вернулся к Любаве и теперь не отрывался. Она чувствовала его на своей коже, как прикосновение. - Дочь твоя - девица видная. Вся округа о её красоте говорит. Но в наше время девичья красота - палка о двух концах, Степан.

Горислав сделал паузу, его ледяной взгляд будто взвешивал не только их молчание, но и саму тяжесть того, что он собирался сказать дальше.

- Твоим долгам я могу положить конец. Это дело простое, - в голосе кузнеца появились стальные нотки. - Но есть ведь ещё долги другого рода - долги всей вашей деревни перед сильными мира сего. Хазарские сборщики к осени снова в наши края пожалуют. А у них, знаешь, аппетит особый: помимо пушнины и хлеба, любят они забирать и подоспевших за год юных девушек. И выбирают, ясное дело, не рябых да хромых, а первых красавиц. Чтобы ханам своим угодить.

Степан тяжело вздохнул. Мысль о том, что Любаву могут

отдать в качестве выплаты врагам, он гнал от себя последние пару лет. Но девка расцветала, и отец уже неоднократно ловил на дочери недвусмысленные взгляды деревенского головы.

- Лично у меня с хазарами свои счёты, - продолжал Горислав уверенно. - И моя кузница, и мои руки им нужнее, чем десяток рабынь. Под моей защитой вам обоим ничего не грозит. Иди в мой дом хозяйкой, Любава.

Девушка почувствовала, как у неё похолодели не только руки, а всё внутри.

Горислав взял со стола подаренную им заколку, повертел её в пальцах, и добавил:

- Или предпочтёшь стать добычей для хищных чужеземцев?

Его острый взгляд пронзил и без того напуганную девушку.

- До Перунова дня - чуть меньше месяца. Этого хватит, чтобы всё справиться. Отсюда возьмёшь только необходимое. У меня всё есть. А чего нет - то купим.

Он положил заколку обратно на стол. Звякнуло.

- На этом всё, - закончил Горислав и развернулся, чтобы уйти, но на пороге обернулся ещё раз. Его взгляд снова упал на Любаву, бледную, безмолвную.

- К реке по ночам больше не ходи. Простудишься.

И вышел. Стук копыт за окном вскоре затих.

Любава медленно опустилась на лавку. Её руки дрожали.

Он не спросил её. Не сказал ни одного ласкового слова. Он назначил день. Перунов день. Меньше месяца.

Степан сидел на лавке, не поднимая головы. Когда он наконец заговорил, голос был чужим, глухим, словно доносился со дна колодца.

- Прости меня, доченька. Я не смог стать для тебя стеной, как обещал твоей матери. Только плетнем оказался. Продувается насквозь.

- Батюшка, - тихо сказала Любава, - не кори себя. Гориславу любая стена по плечу. Он покориł огонь и металл. Что ему мы с тобой?

Отец медленно выпрямился, и в его глазах, помутневших от отчаяния, она увидела бездонную усталость.

- Какая же ты у меня красивая, дочь, - вдруг выдавил он, всё так же глядя в одну точку. - Вся в матушку! Только у неё взгляд был другой. Не девичий. Как будто она всегда чуть-чуть видела дальше, чем все. Слушала то, что другим не слышно, - он провёл рукой по лицу, смахнул невидимую слезу. - Ветер, бывало, подует, а она голову повернёт, будто окликнул её кто. А в поле она словно с полевиками общалась, всегда на покос несла пару яиц варёных на их долю. И на реку часто ночами ходила.

Он замолчал, и тишина снова сгустилась, но теперь она была иной - наполненной невысказанным. Любава ждала продолжения, объяснения. Но отец лишь тяжело вздохнул и закончил так, будто ставил точку на чём-то очень важном:

- И никогда ничего не боялась...

Он не стал пояснять, чего именно не боялась мать. Тихо поднялся. Перед тем как выйти во двор снова повернулся к Любаве. И посмотрел будто не на неё, а сквозь. Его взгляд стал остекленевшим, устремлённым куда-то в прошлое, которое вдруг встало здесь, в пыльном солнечном луче.

- Ты её дочь. Помни об этом.

Любава осталась одна. Её взгляд упал на серебряную заколку, брошенную Гориславом на стол. Она лежала, холодно сверкая. Волна отчаяния, острого и горького, подкатила к горлу. Она схватила подарок, на мгновение ощутив леденящую тяжесть металла, и со всей силы швырнула его в тёмный угол, за печь. Пусть провалится. Пусть сгинет.

Звякнув о кирпич, заковка отскочила и закатилась под старый сундук, стоявший в темном углу. Любава, вся дрожа, опустилась на лавку и закрыла лицо руками. Она ждала слёз, но их не было.

Тишину нарушал лишь далёкий, методичный стук топора отца со двора. И вдруг - резкий порыв ветра. Он ворвался в приоткрытое окно, взметнул золу на шестке, закрутил пыль в солнечном луче. И на миг этот шум показался Любаве не просто гулом, а сдавленным вздохом, полным тоски и гнева. Она вздрогнула и подняла голову.

Ветер стих так же внезапно, как и начался.

Из угла на девушку смотрел старый, материнский сундук. Он стоял там всю жизнь, сколько себя помнила Любава, и

был частью избы, как печь или порог. В нём хранились, как она думала, старые вещи матери, память, которую больно тревожить. Отец закрыл его на следующий день после похорон, и ключ исчез. Она тогда была ребёнком и приняла это как часть ритуала прощания - ушедших не тревожат.

Но сейчас замок показался ей не хранителем покоя, а знаком тайны. Почему отец, который позволял ей трогать всё в доме, и бережно хранил даже её детские погремушки, наглухо запер то немногое, что осталось от матери?

Что могло быть в простых юбках и кофтах такого, что нельзя было показывать дочери? Или это было нельзя показывать ей, Любаве, потому что она - «её дочь»?

Любава медленно подошла к сундуку. Присела на корточки. Тяжесть замка была физически ощутима. Она протянула руку к холодному, шершавому металлу дужки. Едва пальцы коснулись металла, её будто ударило волной нечеловеческого холода. Такой стужи не бывает в избе в разгар лета. Холод был не мертвым, не тем, что от воды или зимнего ветра. Это был холод, который дышал. Который ждал этого прикосновения долгие годы.

Любава отдернула руку, но ощущение осталось - въелось в подушечки пальцев, поднялось по запястью к локтю. Замок снова казался просто старым, просто ржавым. Но она знала: он её коснулся раньше, чем она - его.

Заколка на крышке сверкнула, поймав луч солнца, и её отражение ударило Любаве в глаза словно укол. Она резко

встала, отступив от сундука, как от живого.

Внешний мир вернулся тихим гулом окружающих звуков: стук топора со двора, пение птиц, мычание коров, настойчивый стук в дверь.

Любава вздрогнула, выныривая из оцепенения. Стук в дверь повторился. Дробный, быстрый, девичий.

- Любава! Ты дома? - донеслось из сеней. Голос Марфутки был тонкий, певучий.

- Входи! - выдохнула Любава, на ходу пряча серебряное украшение в складках понёвы.

Дверь отворилась. На пороге стояла Марфа, покрасневшая от быстрой ходьбы, с выбившейся из-под платка рыжей прядью.

- Ну, слава Велесу! Я уж думала, не случилось ли чего. Ты чего не отворяешь? Я стучусь, стучусь.

- Задумалась, - коротко ответила Любава. Голос прозвучал хрипло, в горле пересохло.

Любава помолчала, переводя дух.

- Я слышала, - тихо сказала она. - Про сватовство-то. Вся деревня гудит.

Марфа прикусила губу. Потом вдруг решительно шагнула к подруге, взяла за руку - тёплую, живую, не ту, ледяную, что только что касалась замка.

- А ну его, - горячо зашептала она. - Не думай ты об этом сейчас. Пойдём со мной.

- Куда?

- В поле. Наши все на покос ушли по утру. И тебе негоже одной в избе сидеть. Пойдём, Любавушка, - повторила подруга тише. - Там солнце, там ветер. Там хоть отведешь душу.

И Любава вдруг поняла, что ей невыносимо, до крика, до дрожи в коленях, хочется выйти из этой избы. Туда, где нет замков, нет серебра, нет ледяного взгляда кузнеца. Где просто трава, просто небо и можно хоть на миг притвориться, что жизнь всё ещё принадлежит тебе.

- Хорошо, - сказала она. - Подожди, переобуюсь.

Марфа просияла.

- Я косу захватила! Запасную. Ты не думай, мы тебя рабоботать не неволим, просто посидишь, посмеёшься.

Она тараторила, помогая Любаве собраться, и в её голосе, в её суетливых, заботливых движениях было столько простого, человеческого тепла, что ледяная броня на душе Любавы наконец ослабла.

Уже в дверях Любава оглянулась.

Сундук стоял на своём месте, чёрный, молчаливый, замок висел на дужке тяжёлой каплей застывшего времени. Он не охлаждал воздух, не дышал. Просто ждал.

- Любава? - окликнула Марфа с порога.

- Иду.

Любава вышла, плотно притворив за собой дверь. И только на крыльце, под ярким, немилосердно жарким солнцем, позволила себе перевести дух.

Глава 6. «В поле»

Поле встретило их гудением. Гудели слепни, гудел разомлевший от зноя воздух, гудела сама земля под тысячью травинок, колосьев и спешащих куда-то жучков. Пахло нагретой пылью, мёдом из клеверных головок и прелью от недавно скошенных рядов.

Девки работали на дальнем клину, у самого оврага. Ещё издали Любава увидела пёстрые сарафаны, мелькающие среди высокой, по пояс, травы, слышала звон кос, пересыпанный смехом и короткими, хлёсткими окриками.

- О-го-го! Любавка пришла!

- А ну, бабы, посторонись! Невеста городская пожаловала!

- Цыц, сороки! - прикрикнула старшая из девиц, но без злости, скорее для порядка. - Дайте человеку дух перевести.

Любаву усадили в тенёк под ракитой и тут же забыли о ней, вернувшись к работе. И это было правильно. И это было легче, чем расспросы и сочувственные взгляды. Она сидела, привалившись спиной к шершавому стволу, и смотрела, как в синем, выгоревшем небе кружит коршун. Пальцы сами собой нащупали под тканью сарафана твёрдый край заколки.

Коршун в небе сделал круг, другой, замер на мгновение - и камнем рухнул вниз, в высокую траву у оврага. Где-то отчаянно пискнуло и стихло.

- Любит он тут охотиться, - раздалось рядом.

Любава обернулась. Рядом, тяжело дыша после работы, опустилась на траву Лада. Не подружки Катерина или Мар-

фа - те всё ещё трудились на дальнем краю поля, а Лада, соседская девушка. Круглолицая, с тяжёлыми русыми косами, уложенными короной вокруг головы, она была не сильно старше Любавы, но держалась степенно, по-бабьи. Замуж выходила в прошлом году, да мужа её почти сразу же в дружину загребли. С тех пор молодуха жила при матери-вдове и косила одна за троих мужиков. На девице был белёсый льняной сарафан, больше напоминавший саван или ночную рубаху.

- Коршун-то? - переспросила Любава, глядя, как хищник взмывает из травы с добычей в когтях.

- Коршун, - кивнула Лада. Подула на бледную, тонкую, но натруженную ладонь. - Говорят, в этих местах они особенные. Чуют, где грань тонкая.

- Какая грань?

Лада покосилась на неё долгим, тёмным взглядом из-под усталых век.

- Ты же дочь Велены, - сказала она негромко. - Неужто не знаешь?

У Любавы перехватило дыхание. Мать редко называли по имени. Для всех она была «покойница Степаниха», «мать Любавкина». Но Лада сказала иначе - Велена.

- Ты не бойся, - продолжила почти шепотом Лада, протягивая Любаве крынку с водой. - Я не буду судачить. Я к тому, что кровь - она не вода. Что в матери сидело, то и в дочери отзовется, когда срок придёт.

- Какой ещё срок? О чем ты, никак не пойму я тебя? - голос Любавы прозвучал глухо.

Лада молча поднялась, отряхнула сарафан, подхватила косу. Посмотрела на Любаву и медленно, будто невзначай, перевела взгляд на её шею. Туда, где под вырезом сарафана, на простом шнурке, прятался маленький узелок.

- А это у тебя что? - спросила девушка, и в голосе её впервые за всё время проступило любопытство.

Любава машинально коснулась пальцами ворота. Под тканью угадывался твёрдый, шершавый комочек.

- Так... - смешалась она. - Ещё от матери осталось. Я с детства ношу, не снимаю. Батюшка говорил, её это, оберег.

Она вытянула шнурок наружу. На ладонь легла небольшая, потемневшая от времени утиная лапка, перевязанная красной, выцветшей нитью. Коготки были стёрты, кость отполирована годами прикосновений.

Лада смотрела на неё долго, не дыша. Протянула руку и не коснулась, замерла в вершке, только повела пальцем вдоль костяшек, не размыкая воздуха.

- Утица, - выдохнула она почти неслышно. - Птица, что движется в трёх измерениях - на суше, в воде, и воздухе. Ныряет утка на дно морское, да достаёт свет из-под камня.

Она подняла глаза на Любаву, и те уже не казались усталыми. В них горел тёмный, глубокий огонь.

- Знаешь, что это?

Любава растерянно покачала головой.

- Оберег, - повторила она. - Матушкин.

- Оберег, да не просто оберег, - кивнула Лада. - Это знак, Любава. Ключ. Утка - птица берегинь, тех, что ходят меж берегами двух миров. Ныряет в Навь - всплывает в Яви. Кто её лапку носит, того вода помнит.

Любава спрятала лапку обратно под сарафан.

- Ну, мне пора.

Лада, перехватив косу, ещё раз отряхнула сарафан и пошла прочь, не оглядываясь. А на полевой траве как будто не оставалось следов от её шагов.

Любава заворожённо смотрела ей вслед, прижимая ладонь к груди.

- Любава! Ау! - донеслось совсем рядом с поля.

Она вздрогнула, выныривая из оцепенения. К ней, придерживая рукой подоткнутый подол, бежала Катерина.

- С кем ты разговаривала? - Катерина плюхнулась рядом на траву, перевела дух.

- С Ладой, - ответила Любава, всё ещё рассеянно глядя на межу, где уже растаял силуэт. - Она только что отошла.

Катерина замерла с открытым ртом. Крынка с водой чуть не выскользнула из её пальцев.

- С Ладой? - переспросила она осипшим вдруг голосом. Она осеклась, часто заморгала. - Любава, Лада уже который день не встаёт. После Купальской ночи, как вернулась домой - всю её трясло, зубы стучали, сама была белая, как полотно. Говорят, напугалась чего-то в лесу. Бабка, что ходит её

лечить, говорит, что если выходит - это будет чудо. Совсем плоха девка.

Катерина не договорила, прикусила губу.

У Любавы похолодело внутри. Она обернулась туда, где только что сидела Лада. Трава стояла ровно, нетронута. Ни одного примятого стебелька.

- Но я... - голос её прервался. - Я же с ней говорила.

Катерина схватила её за руку, стиснула до боли.

- Ты про что, Любава? Никого здесь не было, я с того края поля всё видела. Ты сидела одна и с пустотой разговаривала. Я уж думала, тебе дурно от жары, побежала проверить.

Ветер качнул березу, и по земле побежали быстрые, беспокойные тени.

- Это была полудница! - выдохнула Катерина, и в голосе её проступил древний, суеверный страх. - Любава, ты на неё смотрела? Глаза у неё какие были?

- Тёмные, - машинально ответила Любава. - Усталые.

- Бабы говорят, в самую жару, когда солнце в зените, выходят в жито полудницы. Красивые, в белом, а глаза - темные, будто пустые. Увидят девку, что одна в поле засиделась, - заболтают до смерти. Или закружат, завертят, и не найдёт она дороги домой.

Любава посмотрела на поле. Рожь колыхалась под ветром - волнами, как вода. В этих волнах можно было вообразить что угодно: белый сарафан, бледную руку, остановившийся взгляд.

- Бабкины сказки, - сказала она не очень уверенно.

Солнце тем временем поднялось в самый зенит и будто остановилось, наливаясь жаром. Воздух задрожал над жнивём, и даже кузнечики притихли, попрятались в тень под широкие листья лопухов. Девки одна за другой побросали косы, вытирая мокрые лица подолами, и потянулись к опушке, где густая тень от старых берёз и раkit обещала спасение от пекла.

- Переждём зной в тени, а то солнце нынче - зверь лютый. Идите скорее к нам! - крикнула раскрасневшаяся Марфа в сторону подружек.

Катерина подхватила Любаву под руку, увлекая с собой к остальным девушкам. Они уже расстилали под березами дерюжки, доставали узелки с хлебом и луком, передавали по кругу крынки с квасом и водой. Любава примостилась с краю, привалившись спиной к нагретому за день, но отдающему прохладой стволу.

- А я слышала, - заговорила тоненькая чернявая Дунька, развязывая узелок, - что полудницы эти - не сами по себе. Они у полевика под началом ходят.

- У полевика? - переспросила Дарёнка, разливая квас по глиняным кружкам.

- Ну да, - важно кивнула Дунька. - Полевик - он всему полю хозяин. Бабка моя сказывала: мужичок маленький, седой, в белой рубахе, а глаза, как у телёнка, добрые. Днём он по межам ходит, доглядывает, где колос пророс, где сорняк за-

душил. Кто его уважает - тому урожай родит, а кто ленится да межи топчет - того и наказать может: хлеб поглушит, либо скотину в поле запутает.

- А полудница? - не удержалась Любава, и голос её дрогнул. - Она чего хочет?

Наступила тишина. Девки перестали жевать, тревожно переглянулись. Дунька понизила голос до шёпота:

- У нас в соседней деревне, два года назад, девка одна, Матреной звали, пошла в поле в обед, заневестилась, жениха поджидала. А он не пришёл. Так и нашли её к вечеру - сидит в жите, нарядная, коса расплетена, а глаза открытые и не моргают. Живая, а будто не здесь.

- Перегрелась, - отрезала Катерина, но голос её дрогнул.

- Может, и перегрелась, - легко согласилась Дуня. - А может, и нет.

Наступила тишина, заполненная только стрекотом кузнециков. Ветер прошёлся по верхушкам берёз, и листья зашептали тревожно, предостерегающе.

Любава прижала ладонь к груди, туда, где под сарафаном была утиная лапка. Она всё ещё чувствовала на своей коже тот взгляд - тёмный, усталый, но совсем не пустой.

- А может полудница не забрать, а предупредить? - спросила она вдруг, сама не зная зачем.

Девки уставились на неё с недоумением.

- Предупредить? - переспросила Дунька. - О чём?

Любава замаялась, но Катерина вдруг сжала её руку повы-

ше локтя, словно останавливая. Или ободряя?

- Мало ли, - уклончиво ответила Любава. - Может, об опасности какой.

- Не думаю, - важно ответила девушка.

Ветер прошёлся по полю, наклонил колосья, тронул волосы, прилипшие к вискам. Где-то далеко, у самого оврага, кто-то из парней затянул песню про девушку, что ждёт милого с чужбины.

Любава сжала в пальцах спрятанную заколку.

- Пойду пройдуся, - сказала она, поднимаясь.

Катерина встревоженно обернулась:

- Одна? В самую жару?

- Я недалеко. Вон до той берёзы.

Подруга хотела возразить, но передумала. Только кивнула.

- Ты долго только не ходи. Полудница, она шутить не любит.

Любава усмехнулась уголком губ. Полудница. Страшный дух, крадущий одиноких девок. Она пошла вдоль межи, раздвигая босыми ногами тёплую, пыльную траву. И когда отошла достаточно далеко, чтобы голоса подруг стали едва слышны, остановилась. Достала из-за пояса заколку. Повертела в пальцах. Серебро горело на солнце - слепяще, нестерпимо ярко.

На меже, у берёзы, мелькнуло что-то белое, тонкое, как девичий плат. Или просто облако зацепилось за верхушку?

Любава зажмурилась. Открыла глаза.

Никого. Только рожь, только небо, только коршун, всё так же кружащий в синей выси.

За опушкой, в поле, снова зазвенели косы - это мужики, переждав самую жару, возвращались к работе. Девки тоже засобирались, завязывая узелки и поднимаясь с травы.

Любава спрятала заколку обратно за пояс и пошла к остальным девушкам. Молча взяла свою косу и встала в один ряд со всеми. Сделала глубокий вдох, взмахнула - трава послушно легла к ногам. Ровно, в ряд, как и положено. Как и жить - ровно, в ряд, как положено.

Она повела косой шире, сильнее, и трава валилась гуще. А в голове всё звучало: «Кровь - не вода. Что в матери сидело, то и в дочери отзовётся, когда срок придёт».

Звон косы, шорох падающей травы, чей-то смех неподалёку - работа мало-помалу забирала её целиком, вытесняя мысли и стирая страхи.

Коршун в вышине сделал последний круг и скрылся за лесом.

Глава 7. «Девичник»

Время текло медленно, как мёд сквозь пальцы, но неудержимо, как вода в реке. Дни, оставленные кузнецом до дня свадьбы, пролетели неумолимо и стремительно. Жара спала, ночи стали длиннее и прохладнее, по утрам над лугами стелился молочный туман, и пахло уже приближающейся осенью - прелыми листьями, дымком от печей, увядающей по-

лыню.

Любава почти не выходила из избы. Так было заведено: перед свадьбой невеста должна сидеть дома, готовить приданое, хотя Горислав велел взять с собой лишь самое необходимое. Она вышивала. Руки делали привычные стежки, но мысли бродили далеко. То вспоминался коршун в небе, то Лада в белом сарафане, то ледяной холод замка на материнском сундуке.

На шее, под рубахой, у самого сердца, теперь висела не утиная лапка, а обручальное кольцо. Тяжёлое, золотое, гладкое - без единого узора или камня. Горислав прислал его со свахой в тот самый день, когда они с отцом ударили по рукам. Обручальное ожерелье, как называла это сваха Аксиныя. Женихов дар, который Любава должна была носить не снимая, от сговора до самой свадьбы.

- Три седмицы сроку, - пояснила тогда сваха, цепко оглядывая, как Любава прячет кольцо за пазуху. - Волхв так нагадал. Чтобы ты, голубушка, за это время духом жениха пропиталась, его силу в себя впитала. А он твою - через своё кольцо, что у него теперь на груди висит.

- Но я не дарила ему кольца, - возразила было Любава, но сваха прервала её.

- Горислав сковал вам обоим кольца, милая, это не твоя забота.

Любава то и дело ловила себя на том, что прижимает ладонь к груди, словно проверяя, на месте ли украшение. Она

не снимала его уже почти три недели. Так велел обычай.

Утиная лапка перекочевала в карман понёвы.

Накануне Перунова дня, когда солнце уже клонилось к закату и длинные тени легли поперёк горницы, в дверь постучали. Любава вздрогнула.

Но это были не сваха и не Горислав. На пороге стояли подруги - Катерина, Марфа, Дарёнка, Дунька, да даже тихая Злата пришла.

- Принимай гостей, невеста, - сказала Катерина, переступая порог.

Любава хотела улыбнуться, но губы не слушались.

Девушки весёлой оравой ввалились в избу. Выложили на стол всё, что принесли: пироги с калиной, сушёные яблоки, мед в маленьком горшочке, свежий сыр. Дунька села рядом с Любавой, взяла её за руку, сжала крепко, словно хотела передать часть своей силы.

- Ну что, - начала Катя, оглядывая горницу, - последний твой вечер в девушках. По обычаю надо бы справить как положено.

- По обычаю, - эхом отозвалась Даренка и всхлипнула.

- Цыц, - прикрикнула на неё Марфа, но без злости. - Не реви раньше времени. Давай-ка за дело. Для начала надо поставить тесто. Без кулича какая свадьба? Встречать жениха с пустыми руками негоже.

Девушки засуетились. Дарёнка достала из печи большую деревянную дежу, протёрла её чистым полотенцем. Катерина

принесла муку. Дунька сбегала к колодцу за свежей водой, а Злата бережно принесла со двора свежих куриных яиц.

Любава ссыпала муку горкой в дежу, сделала в ней углубление и начала лить туда тёплую воду. Катерина рядом приговаривала вполголоса древние слова:

- Как это тесто поднимается,
так и жизнь твоя новая пусть распускается.

Как оно в печи зарумянится,
так и невеста наша красотой наливается.

- Теперь каждая из нас добавит что-то, - сказала Катерина.
- Кто мёду капнет для сладости, кто масла - для мягкости,
кто яйцо - для плодородия.

Девушки по очереди опускали в тесто что-то своё, шепча пожелания. Марфа добавила горсть мака, чтобы сны были вещими. Дунька - щепотку соли от сглазу. Злата достала из-за пазухи маленький узелок с сушёной мятой и всыпала в дежу, шепнув:

- Чтобы в доме твоём новом ладно было.

- Давай, Любава, - позвала подруга, - теперь твой черёд.
Положи руки в тесто и загадай желание.

Любава закрыла глаза. Подружки притихли, будто дышать перестали. Тесто под ладонями дрогнуло. Любава открыла глаза и быстро, пока никто не видел, шепнула в самую глубину:

- Хочу быть счастливой!

И отняла руки.

Дежу накрыли чистым рушником, поставили в тёплое место, к печи.

- Ну, пока тесто стоит, идём в баню, - скомандовала Катя.
- Невесту надо очистить перед завтрашним днём.

Любаву повели под руки, словно малое дитя или немощную старуху. Ноги не слушались, в голове гудело. На крыльце, уже ступив в сумерки, она подняла глаза и сердце защемило. У плетня, в тени старой яблони, стоял Яшка. Она узнала бы его силуэт из тысячи - плечистый, чуть сутулый, с опущенной головой. Он не подошёл, не окликнул. Просто стоял и смотрел, как ведут её, чужую, в баню перед чужой свадьбой.

Любава остановилась на мгновение, и в груди кольнуло острой, безнадёжной жалостью. Не к себе, к нему. К его верности, которая не нужна. К его надежде, которую она сама убила в тот вечер у реки.

- Любава? - дёрнула её за рукав Катя.

- Иду, - выдохнула она и отвернулась.

Больше не оглядывалась. Но спиной, затылком, каждой клеточкой кожи чувствовала этот взгляд. И знала: он простоит там до утра. И утром, когда повезут её к венцу, он тоже будет стоять где-нибудь в толпе, сжимая кулаки до хруста.

Её раздели, ввели в предбанник. Жар от распахнутой двери ударил в лицо, заставив забыть обо всем. Пахло берёзовым листом, дымом и разогретыми камнями.

- Заходи, невеста, - шепнула Марфа. - Омойся, очистись.

Всё старое смой, всё девичье оставь здесь.

Любава перешагнула порог. Жар обнял её, обжёг кожу. Девушки зашли следом, плеснули на каменку - пар взвился белым облаком, заволок всё вокруг. Сквозь него, как в тумане, виднелись лишь смутные тени.

Катерина лила воду из ковша на плечи Любаве, приговаривая:

- Смой, вода, смой, жива,
С невесты Любавы все печали-скорби,
С её белого тела, с ретивого сердца,
С ясных очей, с чёрных бровей.

Дунька хлестала её веником - не больно, а словно выметая хворь. Дарёнка поддавала пару. Злата стояла в углу с зажжённой лучиной и шептала древние молитвы к Матери Сырой Земле, к богине судьбы Макоши, да к Ладе, покровительнице семьи и любви.

Любава стояла под струями воды, закрыв глаза, и чувствовала, как жар и пар проникают в самую душу, вытапливают оттуда страх, отчаяние, надежду. Становилось пусто и легко.

- А теперь, - Марфа повернулась к Любаве, - пора с девичьей косой прощаться.

Та послушно повернулась, опустила голову. Пальцы подруги, огрубевшие от работы, но всё ещё бережные, принялись распутывать тугую девичью косу. Ленты - алые, зеленые, золотые - одна за другой упали на мокрый пол.

- Ты коса ли, моя косанька, - запела Марфа негромко, по-

чти шёпотом, и девушки подхватили:

- Ты коса ли, моя русая!

Тебя чесывала матушка,

Заплетала родна сестрица!

Уж как мне ли тебя, косанька,

Знать-то, боле не плетать будет;

Алой ленточки не нашивать.

Расстаюсь с тобою, косанька!

Расстаюсь с девьей красотой!

Расплетут тебя, косанька.

Как на мелкие на прядочки,

Поведут меня, девицу,

В нову баню мыться.

Там я смою девью красоту

Ключевой водой студеною.

Волосы рассыпались по спине, тяжёлой волной легли на плечи. Любава стояла, не шевелясь, а Марфа бережно расчесывала гребнем её длинные распущенные волосы. Когда мокрые волосы послушно лежали на плечах хозяйки, Марфа, переглянувшись с Катериной, кивнула. Та глубоко вздохнула и завела тонким, дрожащим голосом древний плач, который в этих краях пели испокон веков:

- Уж ты, волюшка моя, девичья воля,

Ты куда улетаешь, соколица?

Не воротись, не оглянись,

Не оставишь мне крыла перо.

Дунька и Дарёнка подхватили, сначала неуверенно, потом громче, вплетая свои голоса в общий плач. Златка уткнулась лицом в ладони и всхлипывала в такт. Катерина обняла Любаву за плечи, и та почувствовала, как подруга трясётся - то ли от сдерживаемых слёз, то ли от древнего, передающегося через кровь волнения.

Любава молчала, хотя ком в горле рос, душил. А потом прорвало. Слёзы хлынули сами, и она запричитала - не по обычаю, от сердца:

- Родимая сторонушка,
Ты прощай, светёлка тёплая,
Прощай, батюшка родимый,
Прощай, речка быстрая...

Девки вторили, и голоса их сплетались в единый щемящий хор, поднимаясь к закопчённому потолку, улетая в открытое окно вместе с последними лучами заката.

- Всё, - сказала наконец Катерина. - Выходи.

Любаве подали чистую сорочку, холодную, пахнущую ветром и травой. Она натянула её на разгорячённое тело и вздрогнула - ткань обожгла холодом. Словно сама смерть прикоснулась к ней. Невеста умирала для своего дома, для того, чтобы завтра сызнова родиться в новой семье.

В избе уже горел огонь. Девушки усадили Любаву на лавку, и теперь лучшая подруга взяла в руки гребень.

- Теперь, подруженьки, последнее дело, - сказала Катя. - Заплетать невесте две косы. По-бабы.

Волосы, ещё влажные после бани, тяжёлыми прядями легли на спину. Катерина разделила их на две равные половины и начала плести, ловко перебирая пальцами. Девушки стояли вокруг, притихшие, и смотрели.

- Первая коса - мужу на любовь, - приговаривала подруга.
- Вторая - детям на здоровье.

Когда косы были готовы, она уложила их венцом вокруг головы и закрепила шпильками. Поверх надела повойник - неброский, льняной, который Любаве предстояло носить уже как замужней женщине, пряча волосы от чужих глаз.

- Ну всё, - сказала Катерина, оглядывая Любаву. - Теперь ты не девица, Любава. Молодуха. Завтра перед богами и людьми станешь женой.

Любава подняла глаза на своё отражение в тёмном оконце - и не узнала себя.

Из стекла глядела чужая, бледная женщина с тяжёлым узлом волос под повойником. Глаза - тёмные, глубокие, как омут. Она уже видела эти глаза. Это были глаза Лады.

- Девоньки-подруженьки, - снова запричитала Любава, - чую, не быть мне счастливой с кузнецом Гориславом.

- Не гневи богов, Любава! - отрезала Марфа. - Жених он завидный! Молод, силён, богат и знатен. С его руками не пропадёте. Будешь у него, как сыр в масле кататься.

Закончив все обряды уже сильно затемно, подруги стали расходиться. Обнимали Любаву, шептали ей добрые слова и пожелания. Любава в ответ кивала, но слова не доходили до

сознания.

Внутри была пустота.

В избе стало тихо. Даже сверчок за печью умолк, а ветер за окном притих, будто всё вокруг затаило дыхание в ожидании. Лучина догорала, бросая пляшущие тени по стенам. Любава сидела на лавке, не шевелясь, и смотрела на гаснущий огонёк.

Пустота внутри начинала шевелиться.

Сначала просто царапнуло где-то под сердцем - тоска ли, страх ли, она не могла различить. Потом накатило тяжестью на грудь, там, где под рубахой висело обручальное кольцо. Оно вдруг показалось не просто тяжёлым - ледяным. Таким же ледяным, как замок на материнском сундуке.

Любава прижала ладонь к груди - кольцо было тёплым, обычным. Но ощущение холода не проходило.

Она перевела взгляд на сундук. Замок на нём тускло поблёскивал в отблесках лучины. Или ей только почудилось, что он поблёскивает и смотрит на неё в ответ?

Любава встала, сделала шаг к сундуку - и остановилась.

- Матушка, - шепнула она в тишину. - Если ты видишь меня, если слышишь - не оставь. Завтра я покину этот дом. А вернусь ли ещё - не знаю.

Тишина не ответила. Только ветер за окном качнул ветку ракиты, и та скребанула по стеклу, словно кто-то просился войти.

Любава не обернулась. Она стояла посреди горницы - ни

девица, ни жена, ни своя, ни чужая.

За окном занимался рассвет. Новый день начинался.

Глава 8. «Венчание»

Утро Перунова дня занялось хмурое, но без дождя. Тяжёлые тучи нависали над самой землёй, но ветер гнал их прочь, к лесам, оставляя над деревней бледно-голубые промоины. Где-то далеко, за горизонтом, погромыхивало - просыпался громовержец.

Любава почти не спала. Остаток ночи она просидела на лавке, глядя, как догорает лучина, как тени пляшут на стенах, как за окном медленно светлеет. Когда первые петухи пропели, она встала, накинула зипун поверх сорочки и вышла во двор. На крыльце, привалившись к перилам, дремал отец. Услышав движения, он открыл глаза.

- Дочка... - произнёс он едва слышно, - проснулась уже?

Любава молча кивнула.

Отец похлопал ладонью рядом: садись, мол. Любава опустилась рядом, прижалась плечом к его тёплому, пропахшему потом и деревом боку.

Какое-то время они сидели молча. Где-то за рекой кричал петух, в ответ ему отозвался другой, ближе. Ветер шевелил волосы Любавы, трепал подол сорочки.

- Я вчера весь день хотел зайти, - заговорил наконец отец, глядя куда-то вдаль, на реку. - Думал, может, слово какое сказать, ободрить. А потом понял: не моё это. Бабье дело. Вы там без меня справлялись.

- Справлялись, - тихо ответила Любава.

- Я видел, как девки приходили. Слышал, как пели. Хорошо пели, по-настоящему.

- Бать, ты за меня не бойся! - выпалила вдруг Любаша.

Отец посмотрел на дочь, еле сдерживая слезы. Хотел было что-то сказать, да на пороге послышались девичьи, взволнованные голоса. Он только молча коснулся руками её повойника, под которым по-бабьи были уложены две косы.

Подруги прибежали спозаранку, принесли с собой свёртки, узелки, гребни и ленты, чтобы собрать подружку к самому важному дню в её жизни.

- Любава! - Катерина кинулась к ней, схватила за руки. - Ты чего с утра по росе бродишь? Простынешь! Пошли скорее в избу, надо тебя причесать, одеть, пока жених не нагрел.

Любаву подхватили под руки и буквально вволокли обратно в избу. Принялись хлопотать вокруг невесты, и скоро всё внутри наполнилось шумом, смехом и запахом трав и цветов.

Девушки суетились, передавая друг другу гребни, ленты, куски тонкого полотна. Любава сидела на лавке, позволяя делать с собой всё, что нужно. Её раздели, надели чистую сорочку, расшитую по подолу красными нитями, поверх - тяжёлый парчовый сарафан. Дарёнка расправляла складки, Дунька прилаживала пояс с серебряными бляхами.

- Красота-то какая, - шептала Катерина, заплетая Любаве

волосы в две тугие косы и укладывая их короной. - Готова, - выдохнула она, отступая на шаг.

Девушки замерли, любуясь подругой. И в этой тишине со двора донёлся конский топот - тяжёлый, ровный, многоголосьи.

- Едут! - ахнула Дунька.

Подруги высыпали на крыльцо, заголосили, запели величальные. Любава осталась одна в горнице. Сквозь окно она видела, как во двор въезжает свадебный поезд - с десятков всадников на вороных конях, богато убранных, а впереди всех Горислав на белом жеребце. Он был в белой рубаше, шитой серебром, поверх был надет алый плащ, на голове соболья шапка.

- Отворяйте-ка широкие ворота, на невесту нам взглянуть пора. Крепкие запоры отмыкайте. Жениху невесту отдавайте! - запели дружки кузнеца.

- Замуж наша девица не хочет, пусть она в венке ещё походит, не пришла ещё её пора, уезжайте с нашего двора! - захохотали в ответ Любавины подружки.

Девушки зашумели, загалдели, выстроились стеной перед дверью. Марфа, подбоченьясь, закричала:

- Ах вы, гости дорогие, чего пожаловали? Невеста наша - цвет лазоревый, не отдадим за так! Выкуп давай!

Катерина подхватила:

- Золота да серебра, чтоб невеста была весела!

- Сластей мешок! - крикнула Дарёнка.

- Да чтоб красных лент - на весь наш кружок!

Горислав спрыгнул с коня, шагнул к крыльцу. Девушки сомкнули ряды, но он остановился в двух шагах, оглядел их всех и усмехнулся. Усмешка вышла невесёлой, скорее снисходительной.

- Будет вам, сороки, - сказал он негромко, но голос его перекрыл весь галдёж. - Невеста моя. Беру, что моё. А вы получите своё.

Он махнул рукой, и один из дружков высыпал к ногам девушек целую пригоршню серебра. Монеты покатались по траве, сверкая на солнце. Дунька с Дарёнкой кинулись собирать, но Марфа и Катерина не двинулись с места. Катерина смотрела на кузнеца с вызовом, Марфа - с холодным любопытством.

- По обычаю положено... - начала Катерина.

- Я сказал, - перебил Горислав, и в голосе его звякнул металл. - Дурака валять некогда. Где невеста?

Он шагнул к двери, и девушки расступились сами собой. Катерина только и успела крикнуть вслед:

- Любава!

Но Любава её уже не слышала. Дверь отворилась, и в горницу вошёл Горислав.

Он остановился на пороге, оглядел её с головы до ног. Взгляд его задержался на парчовом сарафане, на нарядном венке, на руках, сложенных на груди.

- Хороша, - сказал он тихо. - Пойдём.

- Куда? - спросила Любава, и голос прозвучал ровнее, чем она ожидала.

- На капище. Волхв ждёт. Люди ждут.

Он протянул ей руку. Ладонь была широкой, горячей. Любава вложила в неё свою - и пальцы сразу сжались, захватили в плен, не оставляя надежды на освобождение.

На крыльце, проходя мимо подруг, она встретилась взглядом с Катериной.

- Не бойся, - одними губами шепнула Любава. - Всё будет хорошо.

Катерина кивнула, но взгляд её остался тревожным.

Горислав подвёл Любаву к повозке - крытой, разукрашенной, с дугой, расписанной цветами. Подсадил, сам вскочил на коня.

- На капище! - крикнул он.

Свадебный поезд тронулся. Любава обернулась. Растерянные подруги вместе с отцом усаживались в повозку для гостей. А на крыльце соседской избы стояла Лада. Бледная, почти прозрачная в сером утреннем свете, в той самой белёсой рубаше, что была на ней в поле. Волосы распущены, падают на плечи, руки сложены на груди. Она смотрела прямо на Любаву и не моргала.

Любава хотела крикнуть, остановить повозку, но голос пропал. А Лада вдруг чуть заметно покачала головой и подняла слабую руку - то ли прощаясь, то ли предупреждая, поднесла палец к губам: «Тс-с...» И в то же мгновение ветер под-

нял на дороге такую пыль, что пришлось закрыть глаза. А когда через мгновение Любава их открыла - крыльцо было пусто.

Дорога к капищу вилась вдоль реки, то поднимаясь на холмы, то спускаясь в низины. Тучи над головой сгущались, ветер усиливался.

Вдруг небо полоснула молния, и через мгновение грохнуло так, что кони шарахнулись. Любава вздрогнула, вцепилась в сиденье. Горислав посмотрел на неё и усмехнулся.

- Перун приветствует нас, - сказал он. - Хороший знак.

Она промолчала.

Когда поднялись на кручу, где стояло капище, солнце затянули тучи и поляну заливал серый, тревожный свет. Дуб-великан раскинул ветви над святилищем, у его подножия лежал жертвенный камень, почерневший от огня и крови. Вокруг толпился народ - городские, деревенские, все пришли поглядеть на свадьбу кузнеца.

Волхв уже ждал. Старый, с белыми космами до пояса, в длинной рубахе, расшитой знаками Перуна и Рода. В руках он держал два венка - один из дубовых листьев, тяжёлый, тёмный, другой из полевых цветов, перевитых лентами. Рядом на камне лежали два кольца - гладкие, золотые, без единого узора.

- Слезай, жена, - сказал Горислав, подавая Любаве руку.

Она ступила на землю, и ветер ударил ей в лицо.

- Ветер сегодня - сам Перун дышит, - промолвил волхв,

глядя на небо. - Добрый знак. Идите, дети. Время пришло.

От повозки до жертвенного камня был сооружён деревянный мост - последняя граница между девичеством и замужеством невесты, между прошлым и будущим. Подоспевшие подружки запели, сопровождая каждый шаг Любавы и Горислава по нему:

- Из-за гор, гор, высоких гор,
Из-за леса, леса тёмного
Вылетали ветры буйные,
Отбивали лебедь белую
Что от стаи лебединыя,
Прибивали лебедь белую
Что ко гусям, серым уточкам.
То не лебедь - красна девица,
То не гуси, серы уточки, -
То жених с своей дружиною.
Распалился Огонь-батюшка,
Расплескалась Вода-матушка,
Вострубили трубы медные -
Сужены идут да ряжены,
По мосту идут на капище,
Скатертью дорога стелется!

Горислав подвёл Любаву к камню. Народ затих, только ветер выл в ветвях дуба да где-то далеко громыхал гром.

Волхв поднял руки к небу, заговорил нараспев:

- Во имя Перуна-громовержца, во имя Рода-вседержите-

ля, во имя Матери Сырой Земли, соединяю я судьбы ваши в единую нить. Да будет она крепка, как дуб сей, да будет долга, как река, да будет плодоносна, как земля.

Он взял венки, надел дубовый на Горислава, цветочный - на Любаву. Венок лёг на голову тяжело, пахнул полынью и мёдом.

Стоящая рядом сваха протянула блюдце с кольцами.

Девушки-подружки снова затаили:

- Среди Сварги перстни скованы,

В светлом Ирье позолочены,

На земле волхвом оценены.

Кому эти перстни носить?

Князю светлому со княгинюшкой,

Гориславу с Любавою.

Горислав под пение взял с блюда одно кольцо - узкое, женское, и надел Любаве на безымянный палец правой руки. Металл был тёплым, но Любава вздрогнула - ей почудилось, что от кольца пошёл холод и проник в самую кровь.

Потом Любава взяла второе кольцо - широкое, мужское, тяжёлое. Она взяла его, подняла руку Горислава. Ладонь его была большой, грубой, пальцы в мозолях и шрамах. Она надела кольцо. Оно село плотно, как влитое. И в тот же миг небо полоснула молния, ударил гром - так близко, что земля под ногами дрогнула.

- Венчаю и обручаю вас, дети! - воздел руки к небу волхв.

Горислав повернулся к Любаве, взял её лицо в ладони и

поцеловал - впервые. Губы его были горячими. Когда он отстранился, в глазах его горел тёмный, торжествующий огонь.

- Пир! - крикнул кто-то из дружины. - В город, на пир!

Любаву подхватили, посадили в повозку. Горислав вскочил на коня, и поезд двинулся обратно, к городу, к его дому, к новой жизни.

За спиной оставалось капище, дуб, река. Впереди был город, чужой дом, муж с ледяными глазами и золотыми кольцами.

Гроза уходила за леса, громыхала всё тише. Перунов день был в самом разгаре.

Глава 9. «Пир»

Повозка въехала в городские ворота, и Любава вцепилась в край сиденья, стараясь унять дрожь. Всё здесь было чужим - высокие тыны, резные наличники на окнах, мощеные улицы, по которым цокали копыта. Пахло дымом, но не родным, печным, а каким-то другим - железным, едким.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.